

Содержание

ОТ АВТОРА	7
-----------------	---

ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ

Филологический роман

ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ	11
СМЕХ И ТРЕПЕТ	24
ПОЭТИКА ТЮРЬМЫ	39
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ РЫБУ?	50
МЕТАФИЗИКА ОШИБКИ	63
ЩИ ИЗ БОРЖОМИ	76
TERE-TERE	88
ПОЭЗИЯ И ПРАВДА	102
ВСЕ МЫ НЕ КРАСАВЦЫ	116
ПУСТОЕ ЗЕРКАЛО	130
РОМАН ПУНКТИРОМ	143
ALL THAT JAZZ	158
ПУШКИН	170
КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОЛОСА С АКЦЕНТОМ	196
НА ПОЛПУТИ К РОДИНЕ	212

МАТРЕШКА С ГЕНИТАЛИЯМИ	227
НЕВОЛЬНЫЙ СЫН ЭФИРА	243
СМЕРТЬ И ДРУГИЕ ЗАБОТЫ	260

P.S.

БЕЗ ДОВЛАТОВА	277
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ “НОВОГО АМЕРИКАНЦА”	280
ДОВЛАТОВ КАК РЕДАКТОР	300
ДОВЛАТОВ НА ЭКРАНЕ	311
МЕМЭТО МОРИ	314
 МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ. ГЕНИС И ОКРЕСТНОСТИ, <i>или</i> ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	 321

ОТ АВТОРА

Каждый юбилей Довлатова меняет отношение к нему, в том числе мое. Чем больше лет проходит со дня его смерти, тем сильнее удивляет, что его нет с нами. Как это так? Все есть, а его нет. Странно. И обидно, что нельзя ему показать улицу его имени в Куинсе. И памятник в Питере. И тот, что уже заложили в Таллине. И миллионы экземпляров книг, которые пришли на место худосочных эмигрантских изданий с мизерным тиражом.

Сергею об этом не расскажешь, но остальным можно. И эта книга — среди прочего — попытка включить посмертную жизнь Довлатова в его биографию. Собственно, об этом я рассказываю уже лет тридцать — в книгах, статьях, мемуарах, интервью, передачах и за столом. Довлатова много не бывает. Секрет его безмерной, а главное, непреходящей популярности перерастает в тайну, бросающую вызов его критикам, поклонникам, но прежде всего — друзьям.

Уж это я знаю по себе: дня не проходит, чтобы не вспомнил, не удивился, не восхитился.

Собственно, отсюда и взялся этот сборник. В основе его — “Довлатов и окрестности”. С тех пор, как я размашисто назвал его филологическим романом, мы с читателями пытаемся понять, что это значит. За четверть века этот опус выходил множество раз, в том числе и в карманном издании. Естественно, старели и умирали его персонажи. Но сейчас, заново редактируя текст, я почти ничего не исправил, разве что в печальных случаях заменил настоящее время прошедшим.

Вместо того, чтобы дополнять написанное, я собрал под одной обложкой также несколько эссе и фрагментов, которые на протяжении последних лет написал о Сергее и в связи с ним. Образ Довлатова в них не то чтобы сильно трансформировался, но он отражает перемены в авторской оптике. В молодости мне крупно повезло: дружить и работать с Довлатовым — праздник, который до сих пор со мной. Но старея, я все лучше понимаю Сергея, хотя давно живу там, где его уже не было. Довлатовская проза по-прежнему опережает нас — уже потому, что он жил и писал с запасом.

ДОВЛАТОВ
И ОКРЕСТНОСТИ

Филологический роман

ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1

Сегодня мемуары пишет и стар и млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех — горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом — реакция на гибель прежнего режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно как последний римский император, если верить Дюрренматту.

Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удастся тем, кто к нему и не примазывался. Гордый своей маргинальностью, мемуарист пишет хронику обочины.

Раньше воспоминания писали, чтобы оценить прошлое, теперь — чтобы убедиться: оно было. Удостовериться в том, что у нас была история — своя, а не общая.

“В хороших мемуарах, — писал Довлатов, — всегда есть второй сюжет (кроме собственной жизни автора)”.

У меня второй сюжет как раз и есть жизнь автора, моя жизнь. Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. Загсы в этот день работали — о смерти Сталина сообщили позже.

Советская власть появилась за тридцать шесть лет до моего рождения и закончилась через тридцать шесть — с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события — частные. Я не могу вспомнить ничего монументального.

Авторов более уверенных, чем я, это не смущает. Джон Кейдж, тот самый, что заставлял на своих концертах слушать тишину, писал: “Мне нечего сказать, я говорю об этом, и это поэзия”.

Мне до такого не дотянуть. Я люблю абсурд, но только у других. Сам я — раб осмысленного повествования. Мне неловко задерживаться на деталях, которые и для меня-то не имеют особого значения. А ведь из них — как выясняешь рано или поздно — состоит вся жизнь.

Пожалуй, мое самое значительное метафизическое переживание связано с осознанием незначительности любого опыта.

В университете я учился лучше всех, что было нетрудно — преподавательницы меня любили. Еще и потому, что вместе со мной мужской пол на всем курсе представляли трое. Один — чрезвычайно прыщавый поэт, другой, наоборот, стал после филфака офицером. Я же был хиппи, отличником и пожарным. Экзамены приходил сдавать в кирзовых сапогах. На гимнастерку из-под форменной фуражки свисали длинные волосы. Короче, в нашем унылом заведении я был не последним развлечением.

Тем не менее вместо меня в аспирантуру, о которой я страстно мечтал, приняли долговязую генеральскую дочь, писавшую, как все у нас, меланхолические стихи. В Риге делать мне стало нечего, и я уехал в Америку.

Прошло много лет, и вся эта история кажется — да и есть — совершенно неважной.

Чему завидовать? Диссертации “Шолохов в Латвии”? Папе-генералу, который стал обузой в этой самой теперь уже независимой Латвии?

Речь, впрочем, о другом. Если моя студенческая драма обесценилась, стоило лишь мне оказаться по другую сторону океана, то какими же незначительными будут казаться все остальные наши дела, когда мы окажемся вообще по ту сторону, особенно если ее не будет?

Так я решил написать книгу о Довлатове.

Книги о других пишут, когда нечего сказать о себе. В данном случае это не совсем так.

Я-то как раз ее пишу, рассчитывая поговорить и о себе. Просто Довлатов — крупная фигура. В том

числе и буквально. Однажды мы с Вайлем пришли к Шарымовой, известной своим умением молниеносно готовить. Устав слоняться без закуски, мы завернули к ней с брикетом мороженой трески. Угодили под конец пирушки, которую оживили своим приходом. Вынудив хозяйку отправиться на кухню, мы плотно уселись за стол, но тут повалил едкий дым. Поленившись разворачивать рыбу, Наталья положила ее на сковороду прямо в картонной коробке. На переполах из спальни вышел Довлатов. Мы даже не знали, что он участвовал в веселье. Сергей, к которому тогда мы еще не успели привыкнуть, выглядел сильно. Одетый во что-то с погончиками, он с трудом втискивался в дверной проем. Вспомнив сериал, герой которого в минуту опасности преобразился в зеленого монстра, я восторженно выкрикнул: *“Incredible Hulk!”*

— Невыносимый Халк, — неправильно, но точно перевел довольный Довлатов.

Эта книга началась дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции “Звезды” и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык, не могу понять только одного: почему Довлатова изучают исключительно красивые и рослые славистки? Ладно — канадка, пусть — француженка, но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я уже всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами.

Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к финалу. За это время к дождю за окном прибавились град и даже хлопья снега. Неожиданно

в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось — офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар — импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который часто служил отправной точкой довлатовской прозе. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, уселся за письменный стол.

2

Довлатов дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел “Невидимую книгу” впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд.

Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как д’Артаньян трем мушкетерам.

Мир, в который дал заглянуть Довлатов, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен и казался скроенным по моей мерке.

Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященном ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто оказался на сцене, пришли туда из “Невидимой книги” — кубистический Арьев, гуттаперчевый Уфлянд, медальный Попов, Сергей Вольф, спитанный у Эль Греко. У Довлатова фигурировал даже зал Дома Союза писателей имени Маяковского. По-